

---

АНДРЕЙ КОКОРЕВ, ВЛАДИМИР РУГА

## ВОЙНА И МОСКВИЧИ

*Очерки городского быта 1914—1917 гг.*

### Глава 4. МОСКВА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

Днём завершения февральских беспорядков в Москве, по всей видимости, следует считать 6 марта 1917 года, когда по призыву Совета рабочих депутатов возобновили работу фабрики и заводы, а главное — после недельного перерыва был пущен трамвай.

Правда, вагоны вышли на линии только в три часа дня, поскольку не обошлось без таинственного происшествия в духе того времени. Газеты сообщали о том, как трое мужчин объезжали на автомобиле трамвайные парки и предупреждали служащих об отсутствии тока в сетях. Телефонного звонка в Городскую управу оказалось достаточно, чтобы выяснить: центральная станция давно дала ток, и управа специально послала курьеров — сообщить трамвайщикам, что *можно* выводить вагоны на линии. Найти “провокаторов” не удалось.

Однако опьянение внезапно наступившей “свободой” не позволило москвичам просто вернуться на свои рабочие места. Эйфория от победы над самодержавием ещё не прошла. Всем хотелось праздника, и он был устроен.

В воскресенье, 12 марта, Москва превратилась в арену грандиозной демонстрации в знак солидарности с петроградскими рабочими и солдатами, свергнувшими царизм. Со всех концов города сходились колонны демонстрантов к Театральной площади, чтобы, пройдя по ней перед лицом представителей демократической власти, разойтись по своим районам. Очевидец, корреспондент “Утра России”, описал увиденное на страницах газеты:

“Первый тёплый весенний день. На улицах весенние ручьи...

Первый большой народный праздник. С утра толпы народа с фабрик, заводов, трамвайных парков, из всех районов непрерывной вереницей двигаются к центру — к Воскресенской, Театральной и Красной площадям... Красные знамёна реют над чёрными толпами рабочих, над серыми рядами солдат.

К 11 часам утра — сборному часу — все центральные площади покрыты сотнями тысяч народа.

Шествие открывает отряд солдат с винтовками на плечах. Впереди идут офицеры-командиры отряда, и с ними два солдата несут большое красное знамя.

Рабочие, служащие, учащиеся идут отдельными группами. У каждой группы свое особенное знамя. Вот огромное, в две сажени знамя, на трех

---

Окончание. Начало см. в № 8.

древках, украшенное зелеными венками. На знамени нарисовано восходящее солнце и надпись:

— Всехсвятский район. “Да здравствует демократическая республика!”...

— Вот большое шелковое знамя, украшенное золотыми кистями. “Да здравствует союз железнодорожников!” Служащие Александровской ж. д. Рабочие завода Закс. Рабочие всех типографий. Вот идут синей, одноцветной массой кондукторши трамвая. “Братство, равенство, свобода!”... “Равноправие женщин!” Эти лозунги — на их знамени.

Вот стройными рядами, взявшись под руки, идут офицеры. Республиканский клуб офицеров. На его знамени: “Война до победного конца!” “Да здравствует наша армия!”... Толпа, густыми шпалерами стоящая на тротуарах, приветствует офицеров-республиканцев восторженными криками “ура”.

За ними идут ряды солдат с красными знаменами.

Красные ленты, словно капли крови, всюду мелькают в толпе. Толпа поет то бравурную “Марсельезу”, то минорный и грустный “Похоронный марш”...

Вот над толпою плывет оригинальное желто-синее знамя и слышится чудесная стройная песнь.

— “Нехай живе интернационал!” — Украинцы социалисты-революционеры!..

Впереди девушки и молодые люди в национальных костюмах.

И опять рабочие, солдаты, женщины... Вот идут в своих разноцветных халатах сарты\*. Гордые закоренелые лица, гортанные звуки их национальной песни. Два старых сарта несут огромное знамя на высоких древках.

— “Равенство народов!”...

Вместе с русской надписью на их знамени фантастические изгибы арабских письмен...

Темной однообразной тысячной массой идут евреи. Вместе с красным знаменем они несут и черные знамена”.

Вот вьется и трепещет красивое знамя с золотой бахромой.

— “Да здравствует автономия!”, “Да здравствует Польша!”. Польская партия социалистов!..

Эсты, латыши, грузины, татары, армяне... Почти несколько десятков народностей России участвовали в этом величественном шествии освободившегося народа.

Вот красные знамена с надписями:

— “Автономная школа”. “Да здравствует свободная наука!” Это идут студенты и курсистки московских учебных заведений. За ними — железнодорожные кондуктора. Высокий красивый обер-кондуктор идет впереди и регентует. Кондуктора стройно поют рабочий марш.

С красными знаменами скачут конные солдаты.

— “Война до победы!” — вот девиз на знаменах”.

Совсем другие впечатления от демонстрации остались у В. А. Амфитеатрова-Кадашева:

“День величайшего променада — единения Армии с Народом. Для символического выявления сего Messieurs de Soviet\*\* решили: солдаты пойдут на демонстрацию не в строю, но под ручку с рабочими, шеренгами: рабочий — солдат, рабочий — солдат. По штатскому моему незнанию, я на эту затею было не обратил внимания, но Жорж Якулов разъяснил мне, что здесь — большое ехидство, огромный расчет — разбить строй, растворить воинский

—\* Самоназвание оседлых узбеков. После подавления восстания в Туркестане в 1916 г. двести тысяч узбеков и киргизов по мобилизации были вывезены в центральные районы России “для работы на оборону”. Часть из них оказалась в Москве. Однако сразу же выяснилось, что профессиональные земледельцы не могли заменить русских рабочих, ушедших на фронт, поэтому их стали использовать в качестве чернорабочих. Эта трудовая повинность должна была длиться три месяца, после чего планировалось привозить из Туркестана новую партию работников. Из-за нераспорядительности царской администрации “люди в халатах” застряли в Москве до весны 1917 г., когда их судьбу пришлось решать Временному правительству.

\*\* Господа из Совета (фр.).

элемент в массе. Несомненно, Messieurs de Soviet это устраивают не зря: за последнее время они очень озабочены разрывом между солдатами и рабочими. Брошен лозунг: “Не натравляйте солдат на рабочих!” Конечно, поведение Messieurs de Soviet понятно: им не могут быть приятными такие факты, как, например, явление Преображенского полка на Путиловский завод с приказом прекратить забастовку.

Шествия меня совсем не захватили: что, собственно, хорошего в том, что двигается масса “черного народа”, затаптывая грязью трамвайные пути так, что завтра, наверное, движения не будет? Единственное утешение: отсутствие антивоенных лозунгов и наличие знамен с надписью “Война до победы”. Такую надпись я видел на знамени одного завода, и такой плакат (колоссальный, от тротуара до тротуара) несли офицеры-республиканцы...

Знамена уже не просто куски красной материи, а со всячинкой: разрисованные, с эмблемами, вышитые золотом, но все это очень грубо, аляповато, по-базарному, по-пролетарски. Но как они поют “Марсельезу”! Обратили Руже де Лилия в частушку; сначала запедало затянет:

*Э-э-х, да, э-э-х, да отречемся  
От старого мира!*

А затем толпа подхватит: “Вперед! Вперед! Вперед!”

Что же касается отсутствия лозунга “Долой войну!”, то его решили не выставлять по настоянию Совета солдатских депутатов. Вместо этого над толпой реяли транспаранты с надписями “Да здравствует социализм”, “Без победы не может быть свободы”, “Мир всего мира” и даже — “Долой Вильгельма, да здравствует революция в Германии”.

Призыв “Смерть врагам свободы” вызвал недоумение у Н. П. Окунева: “... если это угроза нашим черносотенцам, то она не в духе настоящего времени. Ведь только что отменена смертная казнь”.

Зато весело смотрелось участие в “революционном променаде” клоуна Владимира Дурова. Он не только провез в цирковой тележке куклы Распутина и Протопопова, но даже вывел на демонстрацию слона. Причем огромное животное было покрыто алой, революционного цвета, попоной, на которой золотом был вышит девиз: “В борьбе обрешь ты право свое”. “Господи! — заметил по этому поводу В. А. Амфитеатров-Кадашев. — Даже слоны вступают в партию социалистов-революционеров”.

Демонстрация, в которой приняли участие почти полмиллиона человек, продолжалась до 5 часов вечера. Колонны, прошедшие через Театральную площадь, распорядители из Совета рабочих депутатов направляли на Большую Дмитровку и Тверскую, откуда демонстранты расходились по митингам. Под собрания в тот вечер в городе были заняты все мало-мальски подходящие помещения. Митинги и собрания превратились в неотъемлемую часть жизни новой, “демократической” Москвы.

Женщины, митинговавшие в гимназии на Остоженке, вынесли резолюцию о необходимости продолжения войны “во имя свободы народов и верности союзникам”, а также дружно проголосовали за предоставление им политических прав и созыва Учредительного собрания с участием женщин. Слепые решили создать свою организацию и высказались за отмену существовавшего для них запрета на вступление в брак. Солдаты, потерявшие зрение на фронте, потребовали от правительства бесплатного наделения их землей и сельскохозяйственным инвентарем.

Скромнее в своих желаниях были служащие цветочных предприятий и магазинов. Они всего лишь обратились с просьбой отменить продажу цветов в праздничные дни. “Цветы — предмет роскоши и удовольствия, а не первой необходимости, — пояснили участники митинга свою позицию, — и прекращение торговли ими в праздничные дни, давая возможность садоводам, служащим и рабочим цветочных предприятий и магазинов проявить полностью права и выполнить обязанности граждан, в то же время не причиняет никакого ущерба гражданам Москвы”. Попутно было решено обратиться к москвичам с призывом воздержаться от покупки цветов в праздничные дни.

Дети от девяти до шестнадцати лет были собраны на митинг в уголке Дурова, где, по словам корреспондента “Московского листка”, ими “путем разъяснения сказок о спящем царстве и об Илье Муромце была уяснена по возможности сущность совершившегося у нас государственного переворота”.

Самым тихим из всех был, пожалуй, митинг глухонемых.

Зато самыми шумными и бестолковыми были митинги кухарок. На одном из них, вместо обсуждения политических вопросов, “восставшие партии” (как их назвал репортер “Раннего утра”), перекрикивая друг друга, делились с товарками наболевшим — рассказывали о добрых и злых хозяевах. Пробужденное революцией чувство собственного достоинства рождало идущие от сердца слова: “Если хозяйка меня с уважением попросит поставить самоварчик, хотя бы и вечером, да разве я откажу? Другое дело, когда тебе приказывают”. Сам митинг закончился без резолюции, поскольку всех участниц сманил за собой проходивший по улице военный оркестр.

Поскольку в политической жизни страны чуть ли не ежедневно происходили важнейшие события, поводы для митингов и собраний не переводились. Например, по поводу акта от 21 марта об отмене национальных и исповедальных ограничений грузинская колония Москвы приняла в адрес Временного правительства такое обращение:

“Русское общество знает притеснения грузин, чинимые старой властью, и лишение их всех прав на национальное определение. Обещанное договорам не исполнялось, предоставленное актами и трактатами отнималось.

Русский народ всегда был на стороне угнетаемых. Грузия, в свое время добровольно присоединившаяся, знала, что справедливый и не менее угнетенный русский народ не одобряет действий старого правительства, и верила, что рано или поздно пробьет час ее освобождения.

Состав Временного правительства дает грузинам уверенность в том, что права малых народностей свободной Россией забыты не будут, что Грузия — на пути к осуществлению своих исторических и законных прав и близок час исполнения заветной мечты каждого грузина: “Автономная Грузия под стягом Свободной России”.

Устроенное по тому же поводу чрезвычайное собрание членов Московской еврейской общины под председательством Д. В. Высоцкого вынесло свою резолюцию:

“Веками прежний режим угнетал и надругался над еврейским народом, но не сломил его сил, энергии и бодрости. Призванный ныне к новой жизни, он вместе со всей Россией напряжет все свои силы для творческой работы и службы родной стране. Народное правительство может уверенно опираться на русское еврейство в его героических усилиях, направленных как к победоносному завершению мировой войны, так и к созданию новой жизни на незыблемых началах свободы, народовластия, равенства граждан и свободного самоопределения национальностей”.

А вот призыв министра иностранных дел Милюкова к захвату Дарданелл и изгнанию турок из Европы вызвал протест московских мусульман:

“Мусульмане полагают, что в великой свободной России, которую они защищали и защищают кровью миллионов своих единоверцев, при разрешении вопросов как внутреннего строительства страны, так и международных отношений справедливость должна быть прежде всего и не должно быть места империалистическим лозунгам, направленным к порабощению слабых народов Азии и Африки”.

О стихии митингов, охвативших Москву в то время, Константин Паустовский вспоминал в “Повести о жизни”:

“За несколько месяцев Россия выговорила всё, о чем молчала целые столетия.

С февраля до осени семнадцатого года по всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг. (...)

Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу. Но тут же, через ми-

нугу, его уже триумфально несли на руках, и он, придерживая скачущее пенсне, посылал проклятия неведомо каким губителям русской свободы. То тут, то там кому-то отчаянно хлопали, и грохот жестких ладоней напоминал стук крупного града по мостовой.

Кстати, весна в 1917 году была холодная, и град часто покрывал молодую траву на московских бульварах трескучей крупой.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам и застрявшему в России французскому офицеру — члену французской социалистической партии, а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы — памятниками Пушкину и Скобелеву. (...)

Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела: “Какой дивизии? Какой части?” Солдат сердито прищурился.

— Чего орете! — закричал он. — Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина — шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный прием. Толпа замолчала.

— Ты вшей покорми в окопах, — закричал солдат, — тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало, что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ошипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте и в гнилом тылу — одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу — оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства. Ура!

Солдат сорвал папаху и поднял ее над головой. Кое-кто закричал “ура!”, но жидко, вразброд. Тотчас в толпе началось злобное движение, — солдаты, взявшись за руки, начали ее оцеплять.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не догадался позвонить в Совет депутатов. Оттуда приехали на грузовике вооруженные рабочие и восстановили порядок.

Постепенно митинги в разных местах Москвы приобрели свой особый характер. У памятника Скобелеву выступали преимущественно представители разных партий — от кадетов и народных социалистов до большевиков. Здесь речи были яростные, но серьезные. Третьяк языком у Скобелева не полагалось. При первой же такой попытке оратору дружно кричали: “На Таганку! К черту!”

На Таганской площади действительно можно было говорить о чём попало.

Митинги у Пушкина хотя и были разнообразны по темам, но держались, как принято сейчас говорить, “на высоком уровне”. Чаще всего у Пушкина выступали студенты”.

Попутно заметим, что весной 1917 г. на митингах в Москве сторонники Ленина, мягко говоря, не пользовались популярностью. Большевик В. А. Сулацкий, в то время прапорщик, вспомнил о своеобразной реакции толпы на его попытку выступить у памятника Пушкину:

“Стоило мне произнести: “Это большевики...”, как снова поднялся шум и снова завопили: “Долой!..” Несколько человек, видимо, готовились к драке, они терлись возле нас и подстрекали толпу избивать, сбросить, разорвать. Чьи-то руки схватили мою шапку, град ударов посыпался на меня... И тут снова мой единомышленник не выдержал — вскочил повыше на ступеньку. “Друзья-товарищи! — кричал он. — Я большевик!” Какие-то разъяренные люди в ответ: “Бей!” Их визг: “Бей!” — привлек внимание народной милиции, и это спасло нас от кровавого самосуда”.

Анализируя документы того времени, забавно наблюдать, как порой за революционной фразеологией отчетливо проступают чисто шкурные интересы. Характерным примером может служить резолюция общего собрания Совета солдатских депутатов, принятая 22 марта при обсуждении приказа штаба округа о посылке на фронт маршевых батальонов. С точки зрения солдат

запасных полков, пополнение фронтовых частей означало одно — “вывод революционных войск из Москвы”, а их нежелание отправляться в окопы вылилось в такие формулировки:

“1) Интересы революции требуют наличности в Москве кадра революционных войск.

2) Отправка маршевых рот должна производиться по мере надобности.

3) При отправке маршевых рот полковые и ротные комитеты отбирают кадры, остающиеся в Москве для обучения вновь прибывающих частей.

4) Все полицейские и жандармы, как солдаты, так и офицеры, должны быть разжалованы в рядовые и, поскольку они не подлежат аресту и суду, немедленно отправлены на фронт при особых именных списках и размещены небольшими группами по отдельным частям”.

Последний пункт стоит рассмотреть особо. Его появление в резолюции скорее свидетельствует о горячем желании солдатских депутатов отправить вместо себя на фронт кого угодно, чем о действительном “участии” в судьбе бывших полицейских и жандармов. К тому моменту большая их часть без напоминаний солдатского Совета уже была отправлена в действующую армию. Например, конный жандармский дивизион, с удалью прошедший на параде 6 марта, был переименован в кавалерийскую часть и в полном составе, как сообщали газеты, “с радостью выступил на боевые позиции”.

Остальные бывшие стражи порядка также недолго томились в тылу. Напомним, в дни Февральской революции арестованных полицейских и жандармов сначала приводили в здание городской Думы и уже оттуда распределяли по имевшимся в Москве местам заключения: в Бутырскую тюрьму, в Таганскую (“Каменщики”), в арестный дом, на гауптвахту. Однако количество арестованных было столь велико, что многих “сатрапов” пришлось разместить под стражей в кинотеатрах, ресторанах и других подобных местах, наскоро приспособленных для этой цели. Например, в ресторане Егорова находились под стражей триста человек, в знаменитом “Тестовском” — около двух сотен.

В камеры арестованных помещали без учета прежних чинов и званий. В одной компании могли сидеть жандармский ротмистр, полковник-пристав, околоточный и городской. Кормили всех одинаково — щами и кашей. Для арестантов, находившихся вне тюрем, пищу готовили в одном из трактиров и оттуда развозили в походно-полевых кухнях, прицепленных к автомобилям. Всем бывшим полицейским было разрешено получать провизию с воли. Свидания заключенных с родными допускались с особого разрешения.

Журналист газеты “Раннее утро” отметил особенности поведения бывших служащих МВД:

“По словам коменданта, заключенные околоточные, пристава и жандармы больше всего негодовали на титул “арестованных”, уверяя, что все они добровольно сложили оружие к ногам новой власти, а следовательно, им должна быть предоставлена полная свобода.

Многие сейчас же нацепили красные ленточки и в одни сутки превратились из “черненьких” в “красненьких”.

Вместо полицейских общественный порядок на улицах Москвы стала охранять “демократическая” милиция. В дни революции основную массу милиционеров составляла учащаяся молодежь. Первыми, по утверждению репортера “Раннего утра”, были студенты института путей сообщения, следом за ними “с необычайной быстротой организовалась учащаяся молодежь из грузин”. В газете была опубликована фотография: начальник милиции А. М. Никитин в окружении большой группы молодых людей в черкесках и с винтовками в руках. На фабричных окраинах вместе с солдатами улицы патрулировали члены рабочих дружин.

Газетный очерк о студентах-милиционерах “Вешние воды”, отражая эйфорию первых дней “новой жизни”, написан в восторженном стиле:

“От них веет молодостью, бурной энергией и радостью жизни.

Таковыми именно и должны быть они, эти люди, принявшие на себя с самого начала революции всю тяготу, все тревоги, всю черную работу ее грозных загадочных дней”.

Другая статья, названная просто — “Милиционеры”, кроме патетики со- держит интересные бытовые детали:

“У ворот во дворе бывшего градоначальничества вместо гнусной фигуры в “гороховом” пальто и “при тросточке”, “шпика”, исподтишка внимательно оглядывавшего вас бывало, дежурят молодые милиционеры с открытыми и честными лицами.

Во дворе, где находится городская милиция (бывшая канцелярия градо- начальника), без особого пропуска от участкового комиссара посторонних лиц не пускают.

Объяснившись с милиционерами-студентами, беспрепятственно прохожу двор и поднимаюсь по каменным ступеням “слишком” знакомой лестницы, стертых посетителями, неделями и месяцами добивавшимися здесь свиде- тельства о благонадежности, разрешения на право жительства и пр.

В прихожей знакомые фигуры старых служителей (низший штат служа- щих и мелких писцов остался пока прежний).

Их растрепанные физиономии глядят настолько комично, что невольно хочется улыбнуться.

Неудивительно: метаморфоза, совершившаяся на их глазах с такой бы- стротой, может случиться разве один раз в тысячу лет. (...)

В кабинете начальника городской милиции А. М. Никитина совещание.

Говорят, что постановлено принимать в милиционеры не моложе 18-ти лет и не состоящих учениками средних учебных заведений.

О вознаграждении вопрос остается открытым (пока труд бесплатный).

До сего дня милиционеры бесценно несут свои обязанности почти круг- лые сутки, не получая даже обеда и питаясь на ходу чем попало.

Спят многие не больше 2—3 часов. На голом полу в помещении милиции.

Лица у милиционеров от постоянного пребывания на улице обветрели, глаза от бессонницы покраснели, но выражение бодрое и веселое.

— Наша жизнь полна опасностей и приключений, — говорит мне юно- ша в огромной папахе, при револьвере и с тяжелой винтовкой в руках (ка- ково ее таскать целый день!).

— Вчера, например, мне пришлось полчаса просидеть в харчевне, пока не пришло подкрепление, наедине с уголовным, бежавшим из тюрьмы, дер- жа револьвер наготове.

У окна на стуле задремал милиционер-студент с широкой красной повяз- кой на рукаве, крепко обняв винтовку.

Устал! Ему сегодня посчастливилось арестовать жандармскую лошадь, которую переодетый хозяин запряг в розвальни (выдала обоих “сытость”), открыть и отобрать у одного кушца тайные склады муки, — одним словом, целый ряд “подвигов”.

Кругом, как рой пчел, жужжат молодые голоса милиционеров, сходя- щихся сюда со всех концов Москвы.

Немного страшно видеть в руках почти детей оружие, но, глядя на энер- гичные лица милиционеров, невольно заражаешься их воодушевлением и мо- лодой жаждой опасности, приключений и подвига.

Да, сгинули “тени” и “духи” старого “градоначальничества”.

Вероятнее всего, авторы этих корреспонденций были столь же молоды, как и описанные ими милиционеры. А вот у людей постарше юнцы, болта- ющиеся по улицам с оружием, восторга совсем не вызывали. В дневнике Р. М. Хин-Гольдовской находим такую запись: “Вместо полиции действует “милиция”. Это значит, что вместо вышколенных для наблюдения за улич- ным порядком городских мечутся студенты, вооруженные винтовками (ко- торые то и дело выпадают из их непривычных рук), на места околоточных поставлены помощники присяжных поверенных, а вместо приставов важно распоряжаются присяжные поверенные”\*. Еще сильнее впечатление от но- воявленных стражей порядка оказалось у В. А. Амфитеатрова-Кадашева: “...увешанные алыми лентами мальчишки, вооруженные винтовками, кото-

---

\* Хин-Гольдовская Р. М. Из дневников 1913—1917. // Минувшее: Исторический аль- манах. 21. СПб, 1997. С. 577.

рые держат так, что при встрече с ними у меня невольно шевелится мысль: “Вот она, моя смерть идет!”

Отражением таких настроений стала карикатура, появившаяся на страницах некоторых изданий. На ней милиционер был изображен карапузом, ростом меньше винтовки за его плечами, утонувшим в огромных сапогах, и с нахлобученной на уши большой фуражкой. Картину дополняла висевшая на поясе кобура с огромным, “взрослым” револьвером.

Преобразование добровольческих отрядов по поддержанию порядка на улицах в орган государственной власти началось 9 марта 1917 г. с распоряжения начальника московской милиции А. М. Никитина о регистрации всех милиционеров и всего находившегося в их руках оружия — его предписывалось выдавать только на дежурство. В те же дни были возвращены на службу сотрудники сыскной полиции, которую новая власть переименовала в “уголовную” и назначила ее комиссаром адвоката М. Ф. Ходасевича. Прежний начальник, талантливый сыщик К. П. Маршалк, был оставлен в качестве руководителя оперативно-розыскной работы.

К концу апреля, по свидетельству А. М. Никитина, штат милиции удалось на две трети укомплектовать солдатами. Причем начальник отмечал, что они хорошо относятся к своим обязанностям, но их еще нужно учить и учить. Однако разгул преступности, начавшийся к тому времени в городе, не давал милиции времени для долгого становления и уже немедленно требовал от органов правопорядка высокого профессионализма и чрезвычайного напряжения сил.

Вообще апрель 1917 г. явился рубежом, когда произошел довольно резкий переход от всеобщей эйфории к состоянию, когда москвичи ощутили себя по-настоящему незащищенными перед преступниками. В марте “Московский листок” с умилением описывал, как новые веяния затронули обитателей Хитровки. На страницах других газет встречались объявления о созыве митингов воров — преступный люд тоже хотел высказаться “о текущем моменте” и призвать к объединению в профессиональную организацию. Интересны в этом отношении воспоминания Леонтия Котомки “Союз молодежи из нашей братвы”:

“Припоминается один любопытный эпизод. В то время я работал в редакции большевистской газеты “Социал-демократ” и был одновременно агитатором МК партии большевиков. Редакция предложила мне заниматься молодежными вопросами, а МК партии — организацией молодежи, что я и выполнял с большой радостью. И вот однажды в редакцию “Социал-демократа” пришли двое молодых людей необычного вида. На мое вопрошающее молчание после некоторого замешательства они заявили:

— Мы представители преступной молодежи.

Недоумение мое рассеял один из посетителей, наиболее решительный:

— Хотим организовать союз молодежи из нашей братвы.

— Хотим бросить воровство и всякое такое, — пояснил другой.

Они упростили меня пойти к ним на собрание.

И вот мы минуем Солянку и шествуем по Хитрову рынку, репутация которого была злодейской. В центре площади торговки и покупатели в самых живописных лохмотьях. От площади разбегаются переулочки. Сворачиваем в один из них. Как уродливые тени, кошмарные призраки, плывут мимо фигуры обитателей Хитрова рынка. Тут жутко и днем.

— Вас не тронут! Вы наш гость! — успокаивают меня мои спутники.

Забираемся в какую-то трущобу. С нар глядят чьи-то лихорадочно возбужденные глаза.

Полумрак. На ящичке, выполняющем, видимо, роль стола, анархистские брошюры.

Беспорядочно, не очень складно, перебивая друг друга, употребляя часто непонятные слова, говорят “форточники”, “карманники”, воров разных “специальностей”.

Пестрое общество. И настроения разные. Один даже предложил создать профессиональный союз воров. Раздался смех. С нар прыгнул взлохмаченный парень.



— Да нас в ключья разорвут с твоей вывеской!

Преобладали те, которые говорили, что надо коренным образом менять профессию и взгляды.

— Всё поднято вверх дном. Все рушится, все старое. И нам надо революцию у себя сделать!

Разумеется, все это было обольщением. Обитателям ночлежки казалось, что Февральская революция всё разрешит и ад капиталистический сразу сменится “раем братства и равенства”. Запомнившиеся фигуры из ночлежки встретились мне впоследствии около здания, над которым развевалось черное знамя “Анархия — мать порядка”.

В середине марта Временное правительство объявило амнистию для многих категорий уголовных преступников. Осужденные за мелкие преступления беспрепятственно получали свободу. Даже грабители и убийцы выходили из тюрем, если объявляли о желании отправиться на фронт.

О масштабах амнистии можно судить по сокращению числа обитателей исправительной тюрьмы. Из 105 малолетних преступников на свободе оказалось 100, из 446 взрослых — половина. По сообщениям газет, только за один день 28 марта “приемочные комиссии” выпустили из каждой московской тюрьмы по 300 человек.

В духе времени прозвучало “Заявление уголовных заключенных”, поступившее в начале апреля в Совет рабочих и солдатских депутатов.

“Мы, уголовные арестанты московской исправительной тюрьмы, военные, гражданские и каторжане, не подлежащие немедленному освобождению из тюрьмы в силу указа об амнистии и пока еще остающиеся в ее стенах, шлем свое сердечное и искреннее спасибо доблестным братьям-солдатам и всему великому русскому народу, не позабывшему протянуть руку помощи нам, доселе лишенным всякой надежды своротить когда-нибудь с пути, по которому мы зачастую против собственной воли, задыхаясь, летели в бездну порока и преступлений.

Пусть будет проклято и забыто прошлое.

Вы перебросили для нас частицу вашего общего счастья, вы наполнили наши тюремные казематы свежим воздухом, подарили нам возможность переродиться”.

К несчастью для москвичей, переродились далеко не все преступники. Многие из них, выйдя из тюрьмы по амнистии, продолжили свои криминальные занятия. Среди них особенно выделялся дерзкий грабитель и убийца Сашка-семинарист. В предвоенные годы банда под его предводительством, наводившая ужас на жителей Москвы и ее окрестностей, была с большим трудом ликвидирована полицией. Записавшись добровольцем в армию, Сашка-семинарист покинул Бутырки, но в полк не явился. А по городу пронесся слух, что именно он стал организатором крупных вооруженных ограблений, прокатившихся по Москве.

27 апреля 1917 г. Н. П. Окунев записал в дневнике: “Экспроприации с каждым днем учащаются, и чаще всего все происходит безнаказанно: грабители подстреливают или режут сопротивляющихся и разбегаются непойманными. За отсутствием полиции и за несовершенством милиции ничего не разыскивается — будь то деньги, вещи или какой товар, даже целыми возами. Грабят не только ночью, но и днем. Не разбираются и с местностью. Все это вопиющее безобразие происходит и в захолустьях, и на центральных улицах”.

Под одним заголовком “Терроризированные москвичи. Уголовные преступления принимают грозные размеры” газета “Раннее утро” поместила объяснения начальника милиции. Вопреки очевидности, Никитин заявлял, что “число преступлений в марте и апреле 1917 г., весьма возможно, не превышает числа преступлений за те же месяцы прошлого года”. Если же преступность все же увеличилась, говорил он, то главной причиной этого следовало считать “неопределенность в состоянии общества”. По мнению Никитина, влияли на положение дел сами демократические основы новой жизни: оружие у преступников нельзя отобрать без проведения повальных обысков, а это вызвало бы протесты обывателей. Кроме того, революцией была отменена такая эффективная мера, как высылка из Москвы правонарушителей в административном порядке.

Справедливости ради следует отметить, что А. М. Никитин за время своего пребывания в Москве\* сделал все возможное для укрепления органов охраны общественного порядка. Российские газеты не без основания писали о том, что в московской милиции порядка гораздо больше, чем в петроградской. Вот только переломить ситуацию начальник милиции был не в силах. Как он ни старался, его подчиненные явно не дотягивали до уровня разогнанных полицейских. Особенно это было заметно в ночное время, когда город фактически переходил в руки преступников.

Как ни странно, но и милиционеры, ревностно выполнявшие свои обязанности, также подвергались обструкции. Их ненавидели посетители трактиров и чайных, где тайно продавали спиртное, — за периодические облавы; их проклинали торговцы — за обыски в лавках; их ругали обыватели, истомившиеся от стояния в очередях, — за то, что милиция проводит мало обысков и арестов спекулянтов.

К лету 1917 г. неприязнь к милиционерам стала принимать формы открытых нападений. Так, 9 июля “Газета-копейка” сообщила о таком случае: милиционер Катаев, дежуривший в Хамовниках, увидел на улице двух известных воров-рецидивистов и попытался их задержать. Чтобы избежать ареста, те стали кричать, показывая на милиционера: “Граждане-товарищи! Вот провокатор, бей его!” Прохожие окружили Катаева и набросились на него с кулаками, а офицер, соскочивший с проезжавшей мимо пролетки, ударил милиционера по лицу шапкой.

В августе-сентябре было отмечено несколько случаев захвата районных комиссариатов разъяренными москвичами. Так, 27 августа 2-й Сушевский комиссариат был окружен толпой, кричавшей “Дайте хлеба!” и угрожавшей разгромом. В тот же день аналогичные события произошли в других районах. Под давлением горожан милиционеры были вынуждены произвести обыски для обнаружения тайных запасов продовольствия в тех домах, на которые указывали демонстранты. 1 сентября толпа женщин сначала побывала в Алексеевском комиссариате, где угрожала сотрудникам милиции расправой, а затем отправилась громить лавки.

Последней попыткой Временного правительства укрепить милицию был приказ военного министра от 11 октября 1917 г., в котором ставилась задача “привлечь действующую армию к обеспечению порядка внутри страны”. Командирам воинских частей предписывалось направлять на службу в милицию самых проверенных офицеров и солдат (“преимущественно георгиевских кавалеров”), поскольку “в данный момент особо ответственная служба должна находиться в руках лучших людей”. Вот только выполнить этот приказ в условиях нарастающего кризиса оказалось невозможно. Да и армия, охваченная к тому времени разложением, вряд ли уже могла служить для милиции источником достойных кадров. По крайней мере, в частях московского гарнизона, судя по рассказам современников, найти “лучших людей” было делом совсем не простым.

Вот первое впечатление писателя Бориса Зайцева, прибывшего служить в 192-й запасной пехотный полк: “...Казармы — вблизи Сухаревки. Огромный двор, трехэтажные корпуса, солдаты, слоняющиеся без толку, — кое-где вялый подпоручик строит взвод, пытается заняться учением. (...) Из окна виден двор. Солдаты шлепаются по нему, иногда в обнимку, другие висят на подоконниках, курят, плюют, лущат семечки”.

Последними местами, где еще сохранялся привычный армейский порядок, были военные училища и школы прапорщиков. В конце марта в них состоялся первый выпуск “офицеров свободной России” — приказ об их производстве подписал уже не царь, а военный министр А. И. Гучков. Из Александровского училища в адрес Временного правительства была послана ответная телеграмма: “Вновь произведенные прапорщики Александровского военного училища первого выпуска обновленной народной армии приносят

\* По предложению А. Ф. Керенского в июле 1917 г. А. М. Никитин стал министром почт и телеграфов, в сентябре возглавил Министерство внутренних дел. Выступал за применение самых решительных мер по отношению к противникам Временного правительства.

сердечную благодарность за поздравление и громовым “ура” свидетельствуют о принесении себя в жертву на отбитие коварного врага, желающего поработить свободную Россию”.

Нам уже никогда не узнать, кто был автором текста телеграммы, но слова о “принесении в жертву” оказались пророческими. Вспоминая свой выпуск, Борис Зайцев писал: “1-го апреля обратились мы в нарядных прапорщиков армии, дни которой и вообще-то были сочтены. Обнимались, прощались весело и грустно. Выходили все в разные полки. Будущее было загадочно и неясно — судьба наша недостоверна. И действительно, веером разнесло нас, кого куда. Из всех полтораста своих сотоварищей по роте лишь одного довелось встретить мне за пятнадцать лет”.

О своей службе весной 1917 г. писатель оставил такое свидетельство:

“Так началась в Москве офицерская моя жизнь. На юнкерскую вовсе не похожая. Там напряженность, дисциплина, труд, здесь распушенность и грустная ненужность. Война еще гремела. На Западе принимала даже характер апокалипсический. У нас вырождались. Мы уже не могли воевать, мы — толпа. Это чувствовалось и в тылу. В Москве тоже делали вид, что живут, обучают солдат и к чему-то готовятся. В действительности же... (...)

Служба... Состояла она в том, что по утрам надо ехать в казармы. Там решительно нечего делать, при всем желании. Бездельничали и солдаты и офицеры. Смысл поездок этих только тот, что в полдень в офицерском собрании, там же в казармах, мы и завтракали. А после завтрака Сухаревка, трамвай, и к себе на Сушевскую”.

Что там говорить о занятиях военным делом, если даже принятие присяги Временному правительству проходило с большим скрипом. В воспоминаниях Г. А. Иолтуховского приводится такой эпизод из жизни московского гарнизона:

“А вот, по словам очевидцев, нередкая картинка из тех времен.

Младший офицер дает солдату отпечатанный текст присяги Временному правительству и приказывает:

— Читай, что тут написано.

— Я малограмотный.

— Давай я прочту, слушай: “Клянусь честью офицера...”

— Непонятное что-то, — перебивает солдат.

— Что непонятно?

— Да выходит, вроде солдат чтоб клялся офицерами.

— Да ты слушай, что будет дальше. Там написано: “Клянусь честью офицера, солдата”, — да только это слово “солдата” взято в скобки. Ты понимаешь, что это значит?

— Как не понять! В скобки — значит лишний, мол, и его вон.

— Да ничего подобного! Это для удобства. Ежели подписывает офицер, так он зачеркивает слово “солдата”, которое в скобках.

— Это они умеют.

— Да ты о чем?

— Да насчет солдата, которого постоянно зачеркивают.

Обычно во время такой подготовки к принятию присяги собираются зрители. Слыша такие ответы, они смеются. (...)

Офицер делает вид, что не понял солдата, и продолжает:

— А знаешь, кому присягать будем?

— Плохо знаю.

— Временному правительству... Понятно?

— Как не понять! А позвольте спросить — землю мужикам оно отдаст?

— Ишь чего захотел! — раздается в группе зрителей. — Держи карман шире. По три аршина на душу Временное тебе отвалит. (...)

Собрав листки, офицер быстрыми шагами уходит”.

Обратим внимание: солдат и его товарищи отрицательно относятся к новой присяге вовсе не из-за верности царю-батюшке, а оттого, что правительство никак не дает ответа на самые насущные, по их мнению, вопросы. Конечно, можно было бы назвать рассказ мемуариста недостоверным, поскольку он вышел из-под пера большевика. Они, как известно, показали себя ма-

стерами “творческой” интерпретации. Однако есть и другие свидетельства. Например, В. А. Амфитеатров-Кадашев, непримиримый противник большевизма, оставил в дневнике такую запись:

“Кажется, у солдат есть своя мысль — одна, и к тому же глупая, но мысль эта всецело их захватывает, и тут стена, которую не прошибешь. Внешне они иногда как будто еще льнут к *нам*, спрашивают объяснений и советов, но это — лицемерие, игра какая-то: они уже все объяснили по-своему, придумали какой-то выход, где есть и “замирение” и “земля”... Я пробовал говорить с ними (по их инициативе, конечно: лезли, спрашивали, — сам бы я никогда к ним не пошел) и ощутил — мои слова падают в пустоту. Ибо они одержимы двумя страстями: “Скорей бы кончилась война” и резкою похотью к земле, к материальному благу. Когда я говорил им, ссылаясь на воззвание 15 марта, в котором Messieurs de Soviet призвали весь мир поцеловаться на радости, что в России — республика (документ, который займет на календаре место в истории русского идиотизма), что войну нельзя кончить с бухты-баракты, ибо немцы не желают слушать наши мирные предложения, они сочувственно кивали головами, но — *думали свое*. И я чувствовал, что 1) не знаю языка, на коем следует с ними говорить; 2) что они — люди иной породы, не из *моей* России; 3) меня *очень* не любят. А еще чувствовал, что и я их *совсем не люблю*. Но все это еще пока под спудом...”

Останется удивляться, как в тех условиях командование Московского военного округа умудрялось отправлять на фронт маршевые батальоны. По всей видимости, легче всего это было делать в марте, когда призывы защитить завоевания революции имели хоть какое-то воздействие на солдат. “Проводы свободной армии свободным народом” — так назвал корреспондент “Раннего утра” свой репортаж об отправке 23 марта 1917 г. первых частей:

“Много солдат проводила Москва на войну, но таких проводов, как эти, еще не было.

Только свободный народ может так провожать свою доблестную, свободную армию... (...)

Вот показываются первые ряды маршевых эшелонов под развевающими красными знаменами.

Оркестр играет “Варшавянку”, которую потом сменяет “Марсельеза”.

Впереди других — красивое красное знамя с крупной надписью золотыми буквами: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”

Солдаты решили взять его с собой.

— Донести до окопов.

Дальше читаю: “Полковой комитет N полка. Да здравствует народная армия!”

“Да здравствует народ и армия!” и много др.

Солдаты смешиваются на платформе с провожающими. (...)

Старый режим так не отправлял на фронт маршевые колонны. Защитников родины вели прежде “туда” точно в ссылку, точно отверженных, заклеянных. Церемониал устанавливался полицейскими: вели ночью, перелучками, без оружия, грузили на товарных станциях в вагоны тайком, не допуская близких и друзей.

Былое.

Новая Москва отправляет новые маршевые роты открыто, со светлой улыбкой, с горячим приветом и радушными пожеланиями”.

Летом 1917 г. очевидцем проводов на фронт был Борис Зайцев, и его воспоминания об этом совсем не похожи на бодрые репортажи московских газет:

“Все-таки некоторые полки уходили на фронт. Как, кому удавалось уговаривать на это странное предприятие? Но сами мы с женой провожали 193-й пехотный на Днестр. С ним уезжал пасынок мой, прапорщик Алеша С. (впоследствии большевиками расстрелянный).

...Знойный, блестящий день, платформа где-то у Ходынки, товарный поезд с вагоном второго класса для офицеров. Толпа солдат с гиканьем, песнями валит в вагоны. Круглое, в пенсне, лицо Алеши, нервно смеющегося, бегающего по платформе, на ходу целующего руки матери.

— Ты, мама, не волнуйся... Какая теперь война, просто сидение в окопах...  
Ни одна мама мира не утешится такими утешеньями — да станут ли ее и спрашивать? Идет стихия, буря, судьбы российские решаются — приходится тащить таинственные жребии. Мать дала ему на войну иконку — Николая Чудотворца — да по-женски плакала, когда уходил поезд, весь в серых шинелях... и оркестр играл...

*По улицам ходила  
Большая крокодила...*

О, знаменитая музыка революции, Блоку мерещившаяся, — “Большая крокодила”...

Юношеское лицо в пенсне, конечно в слезах, виднелось из окна вагона. Белый платочек, да ветер, да солнце”.

Следует сказать и о новшестве — появлении женщин-офицеров. В начале октября 1917 г. генерал А. М. Зайончковский приветствовал со страниц газеты “Время” первый женский выпуск Александровского училища. К сожалению, о них известно крайне мало. В воспоминаниях А. Г. Невзорова упомянуты прапорщики — сестры Вера и Мария Мерсье. Во время Октябрьского переворота, когда занявший Кремль отряд юнкеров испытывал недостаток в пулеметах, они явились с двумя “максимами” и храбро сражались. С ноября 1917 г. сестры Мерсье воевали в Добровольческой армии и погибли в боях.

Завершая рассказ о московском гарнизоне, отметим еще одно явление московской жизни, связанное с наступлением эпохи “свободы, равенства и братства”. Когда военное командование объявило о введении отпусков для солдат старших возрастов, московские вокзалы оказались буквально оккупированными толпами “защитников отечества”. Очевидец этого, В. А. Амфи-театров-Кадашев, записал в дневнике: “...5 дней я пытался уехать и должен был отказаться от этих попыток из-за солдат, куда-то прущих в невероятном количестве. Один весьма примечательный момент: в среду, на Страстной, я хотел уехать с Ярославского вокзала, взял билет на Рыбинск и вышел на платформу. То, что я увидел, — было потрясающе: все три перрона, длинными лапами протянутые от вокзала чуть ли не на 1/2 версты, серели и кишели сплошной массой шинелей”.

Чтобы дать возможность проехать по железной дороге и другим пассажирам, командующий МВО издал 14 марта специальный приказ. Комендантам станций предписывалось отправлять одиночных солдат и малочисленные команды, следовавшие в одном направлении, особыми воинскими эшелонами (!) или прицеплять к пассажирским поездам особые вагоны.

Осенью 1917 г. этих мер оказалось уже недостаточно. Показателен случай, произошедший в середине октября на Николаевском вокзале. По сообщению “Русских ведомостей”, перед отправлением скорого поезда солдаты-отпускники ринулись в вагоны и заполнили их до отказа. Оставшиеся на перроне устремились в вагоны, места в которые были проданы по записи, — они стояли запертые в ожидании пассажиров. Солдаты стали выбивать окна, выламывать двери, угрожать кондукторам расправой. Образовалась огромная толпа, зазвучал призыв: “Буржуев громить, все — для солдат!” Под “буржуями” подразумевались железнодорожники и пассажиры, заранее купившие билеты. После того как прибывшая милиция арестовала двоих агитаторов и пообещала применить силу к остальным, толпа разбежалась.

Обывателям оставалось ностальгически вздыхать по тем временам, когда на улицах царил городской и, соответственно, порядка было больше — не в пример “демократической Москве”. Причем уже нельзя было обвинять во всех бедах погрязшую в коррупции царскую бюрократию. Как-никак, вместо нее более полугодом на всех командных постах были “полномочные представители народа”.

Домовладельцы воспользовались бездействием власти. Оставшись без присмотра со стороны околоточных, они перестали оплачивать вывоз грязного снега на свалки, предпочитая сваливать его во дворах. Под жарким апрельским солнышком эти снеговые горы превратились в кучи зловонной грязи.

К тому времени дворники поднаторели в отстаивании своих прав и предпочитали митинговать, вместо того чтобы заниматься чисткой дворов. Так, 11 апреля вся Миусская площадь была запружена людьми в белых фартуках. После бурного обсуждения дворниками были выработаны общие требования: ежемесячная зарплата не менее 80 рублей; непременно отдельная квартира; отмена дежурств, различных услуг хозяевам и квартирантам, ведения домовых книг; упразднения чаевых — взамен домовладельцы должны были награждать дворников к Пасхе и Рождеству в размере месячного оклада.

Спустя полтора месяца дворники снова собрались на той же площади. Подняв красные знамена с надписями: “Долой оковы рабства!” и “Да здравствует социализм!”, они настаивали на повышении жалования уже до 100 рублей. Забастовка по этому поводу длилась больше недели. Вид, который приняла Москва в те дни, описал в дневнике Н. М. Окунев: “...Московские улицы, не исключая и центральных, представляют собой мусорные ящики. Все, что ни выбрасывается на улицы и тротуары, так и лежит теперь дня 4 без уборки. По тротуарам ходить стало мягко: лоскуты бумаг, папиросные коробки, объедки, подсолнечная шелуха и т. п. дрянь вплотную, а дворники сидят себе на тумбах, погрызывают семечки да поигрывают на гармошках”.

Не сумела новая власть решить и транспортную проблему. Как приговор звучали для москвичей сообщения газет о состоянии трамвайного парка: “вчера вышло еще 30 вагонов, на ходу не более 170 вагонов”. Это означало, что на следующий день прихода трамвая придется ждать еще дольше, что на подножках будет виснуть вдвое больше людей, а “синие ведьмы”-кондукторши будут кричать еще злее: “Чтоб вы все слетели под колеса, авиаторы несчастные!”

На фоне этого почти издевательством прозвучал приказ начальника милиции от 18 апреля, которым он “предложил” своим подчиненным “иметь постоянное наблюдение за недопущением переполнения вагонов, а также езды на подножках и сзади вагонов”.

Правда, был момент, когда положение с трамвайным движением немного выправилось. После призыва Совета рабочих депутатов трамвайные мастерские повысили производительность труда, а вагоновожатые стали осторожнее обращаться с моторами перегруженных вагонов. О последовавших результатах газета “Утро России” сообщила 21 марта: в субботу (18 марта) пущено на линию 550 вагонов, в ремонт вернулось 90; в воскресенье — на линии было 610 вагонов, вышли из строя 75; в понедельник перевозили пассажиров 640, а “количество отправленных в ремонт еще снизилось”.

Впрочем, такая идиллия продолжалась недолго. Вагоны продолжали выходить из строя, а материалов для их ремонта не было. Вернее, они где-то были, но никак не удавалось организовать их доставку в Москву. Финансовый кризис не позволил городской Думе реализовать проект покупки новых вагонов за границей. Летом 1917 г. из-за проблем с топливом городским властям пришлось сократить работу трамвая до 9 час. вечера и поднять плату за проезд.

Пользование другим привычным видом транспорта — извозчиками — к тому моменту большинство москвичей уже не могли себе позволить. За поездку, стоящую до войны 20—30 копеек, осенью 1917 г. извозчики запрашивали 10—16 рублей. При этом у них самих жизнь была несладкой. Выражение “овес нынче дорог” из присказки превратилось в констатацию факта. Достать его можно было только у спекулянтов, а хранение даже небольших излишков грозило серьезными неприятностями. Вместе с тем встречались в то время извозчики-лихачи, которым ничего не стоило в любой момент разменять 500 рублей.

Однако самой главной проблемой, с которой так и не справились “демократы”, был продовольственный вопрос. За всё время пребывания у власти Временного правительства в Москве было всего несколько дней, когда хлеб можно было купить без многочасового стояния в очередях. Какие бы ни объявлялись меры, вроде введения государственной монополии на хлеб или торговли по “твердым” ценам, в реальности для москвичей все оборачивалось сокращением хлебных пайков, ростом дороговизны на продукты, отсутствием самого необходимого.

Москвич Н. П. Окунев, не самый бедный человек в городе, отмечал в то время в дневнике, что периодически испытывает чувство голода. Красноречиво его свидетельство, относящееся к лету 1917 г.: “Пошел в контору. На трамвай, конечно, не попал, но мог бы доехать на буфере, если бы там уже не сидело, вернее, не цеплялось человек 20. По тротуарам идти сплошь не приходится. Он занят хвостами, молочными, булочными, табачными, чайными, ситцевыми и обувными. Зашел в парикмахерскую. Делаю это вместо двух раз в неделю только один: за побритье с начаем заплатил 1 р. 10 к. Парикмахерская плохенькая — в хорошей пришлось бы израсходовать все 2 р. Пришел в контору; сотрудники угрюмые, неласковые, “чужие” какие-то (я — “буржуй”, а они — № 3\*). Пред чаепитием заявили, что за фунт чая надо теперь платить 5 р. 20 к., и то только по знакомству, в оптовом складе Высотского. Велел купить сразу 5 фунтов, а то, вероятно, будет еще дороже. Подают счет за купленные угли — 11 р. 50 к. за куль (дрова уже достигли 100 р. за сажень, а кто говорит, что платит и 120). Сидел в конторе с 9 час. утра до 6 вечера безвыходно и, конечно, ничего не ел, что вошло уже в обыденку и в привычку.

По дороге из конторы на квартиру завистливо заглядывал в окна гастрономических магазинов и читал ярлычки цен: балык — 6 — 8 р. фунт, икра — 8 — 10 р. фунт, колбаса — 3 р. 50 — 4 р. 80 к. фунт, ягоды — 80 к. — 1 р. фунт, шоколадная плитка — 2 р. 50 к. и т. д. в этом же роде. Настроенный такими хозяйственными соображениями, придя домой и усевшись за обеденный стол, узнавал, что стоит то, другое. Фунт черного хлеба — 12 к., булка из какой-то серой муки — 17 к., курица — 5 р. 50 к. (старая, жесткая и даже не курица, а петух), стакан молока (может быть, разбавленного водой) — 20 к., огурец — 5 к. штука, и это всё приобреталось не где-нибудь поблизости от квартиры, а в Охотном ряду, так сказать, из первых рук, то есть с соблюдением всевозможных выгод.

После обеда пошли с горя, что ли, в электрический театр. Конечно, набит битком, и надо было заплатить за вход по 1 р. 50 к. с человека, а, бывало, за эту же цену сидели в Малом театре, смотрели Ермолову, Садовского, Лешковскую. Вот такая жизнь в Москве среднего буржуа на рубеже четвертого года войны и сто сорок пятого дня революции!”

И это еще, можно сказать, спокойное, философски-отрешенное описание положения, в котором оказался типичный представитель “среднего” класса. Совсем о других настроениях свидетельствует репортаж из хлебной очереди журналиста Эр. Печерского, опубликованный на страницах “Раннего утра”:

“Оттого ли, что люди, стоявшие в хвосте, озябли и истомились от ожидания, оттого ли, что они были голодны, — не знаю, но факт тот, что настроены были все пессимистически, смотрели озлобленно по сторонам и ругались.

Речи, которые произносились на этом “митинге”, были кратки и били, как удар бича.

Ругали, главным образом, лавочников и мародеров. Но доставалось и новому строю.

— Укажите мне, — горячился какой-то гражданин неопределенной профессии, — да, укажите мне хотя бы одного мародера, который был арестован новым правительством?.. Таких нет...

— И не будет! — уверенно подтвердил второй, по виду бывший городской. — Все на свободе!.. Даже Митька и тот разгуливает по улицам и поглаживает брюшко...

— А мука? — волновался третий, — где мука?.. Раньше нам кричали: “спрятали спекулянты, которым покровительствует полиция”... Верно, спрятали... И много спрятали. Ну, а теперь?.. Разыскали эти склады?.. Нашли спрятанное?.. Отдали его народу?..

— Как же, отдадут! — ругалась острая на язык кухарка, — держи кар-

\* Речь идёт о номерах партийных списков, за которые голосовали на различных выборах (в городскую Думу, в Учредительное собрание и т. д.). “№ 3” — партия социал-революционеров.

ман шире... Только прежде одни нагуливали себе морды, а теперь другие...

— Товарищи! — раздался вдруг зычный голос гражданина в потертом пальто. — Я стою в очередях вот уже несколько месяцев, каждый день я записываю все купленное в книжечку и цену ставлю... И вот вчера я высчитал: за последние две недели жизнь вздорожала по сравнению с прежним еще на 80%. Будем протестовать... Будем требовать нормировки цен...

— Требовать!.. Требовать!.. — кричала взволнованная толпа...

В феврале-марте 1917 г. шутили, что старая власть сломала голову о хвосты. Судя по фельетону Эр. Печерского, опубликованному в середине апреля, томившимся в очередях людям уже было не до шуток. И если учесть, что к октябрю положение москвичей еще больше ухудшилось, то нет ничего удивительного в изменении их настроений в пользу большевиков. Даже часть интеллигенции заговорила о желательности радикальных мер.

Вот отрывок из воспоминаний Н. Д. Крандиевской-Толстой, которой довелось быть свидетельницей событий, происходивших в Москве осенью 1917 г.: “Бесформенно-восторженное настроение первых недель постепенно спадало. Вести с фронта были тревожны, — усилилось дезертирство. Растерянность в интеллигентских кругах росла с каждым днем. Новое, труднопонижаемое, неуютное и даже зловещее лезло изо всех щелей. Видя это, кое-кто уже подумывал, не пора ли загнать обратно в бутылку выпущенного из нее “злого духа свободы” и как это сделать.

Во время одной из своих обычных прогулок по арбатским переулкам Гершензон зашел к нам на минутку и, не снимая пальто, стал высказываться о текущих событиях так “еретически” и так решительно, что оба мы с Толстым растерялись. Гершензон говорил о необходимости свернуть фронт, приветствовал дезертирство и утверждал, что только большевикам суждено вывести Россию на исторически правильный путь.

Толстой возражал горячо, резко и, проводив Гершензона, сказал:

— Всё дело в том, что этому умнику на Россию наплевать! Нерусский человек. Что ему достоинство России, национальная честь!”

Как скоро выяснилось, молодой писатель оказался неправ. Самые громкие слова уже не трогали большинство населения России. Обыватели, разубедившиеся в действительности власти, хотели одного — сохранить в неприкосновенности свой мирок, хотя бы в пределах дома, квартиры. Отражением этого сдвига в общественном сознании стало характерное для осени 1917 г. самовооружение москвичей, создание “домовых комитетов”, введение ночных дежурств из числа самих жильцов.

21 октября Н. П. Окунев записал в дневнике: “Вчера в Петрограде и Москве ожидалось “выступление” большевиков. Напуганному обывателю рисовалось, что ночью произойдут на квартиры вооруженные нападения, резня, грабежи, — одним словом, что-то вроде Варфоломеевской ночи. И вот “домовые комитеты”... (Да! Завелись комитеты по всяким делам, не только по правительственным, общественным и профессиональным, но и по жилищным делам, т. е. касающиеся кухни, спальни и дворничкой.) Вот блага так долгожданной свободы: она спеленала нашу жизнь бессмысленными комитетами, резолюциями, воззваниями, поборами, угрозами, самочинством. Ни есть, ни пить, ни спать, ни дышать свободно не можем. Была одна власть, теперь она над нами, под нами, с боков, сзади, перед нами — взнузданы мы все и уже бесимся. Сами норовим огрызнуться и ударить грозящего нам “товарища”, и вот домовые комитеты на этих днях, и преимущественно вчера, собирались и совещались, как бы оберечь свои семьи, имущество и сон от анархических эксцессов, и тут обнаружилось, что большинство обывателей имеют и револьверы, и ружья, и кинжалы. Решено учредить ночное дежурство на лестницах, на парадных, на улицах перед входами в дома и т. д. Состоялись такие “стратегические” советы: как, мол, действовать, если ввалится шайка в 10 — 15 человек, и как действовать, когда дом осадит толпа в 500 — 1.000 чел. Таким образом, и мы — 12 квартирантов дома Поповых в Просвирином пер., совещались с 9 до 11:30 вечера и решили по двое дежурить вооруженными с 12 ч. ночи до 7:30 ч. утра. На каждую смену вышло по 1 ч. с четвертью времени, и нам с соседом пришлось дежурить от



2:30 ночи до 3:45. У него был свой револьвер, а мне оставил мой предшественник по дежурству, так как у меня, кроме перочинного ножа, никогда никаких смертоубийственных орудий не было. Было очень скучно и смешно. Дом спал, в переулке тишина, ни людских голосов, ни собачьих, ни кошачьих, ни каких других звуков (впрочем, петухи немного попели). Фонари не горели, но зато светила великолепная луна и поблескивали звезды. Держался крохотный морозец, ветра не было и вообще чувствовалось недурно. И если так было у многих домов, то при осуществлении “выступления” действительно бы вышло что-нибудь кровопролитное. Не у всех ведь револьверы были на запоре, как у меня, “непротивленца”.

Всего через несколько дней автору дневника вместе с остальными москвичами пришлось убедиться, что револьверы “домовых комитетов” — слабая защита от большевиков.